

Елена Пенская  
«Потерянный рай» Евгении Тур  
(Елизавета Васильевна Салиас-де-Турнемир  
и ее «Воспоминания»)

---

Для сегодняшнего читателя имя писательницы Евгении Тур (1815—1892) затерялось где-то в темных глубинах позапрошлого века. Между тем Евгения Тур (псевдоним Елизаветы Васильевны Сухово-Кобылиной, в замужестве Салиас-де-Турнемир) долгие годы находилась в эпицентре русской культурной и политической жизни, своим присутствием в ней во многом сформировала определенный тип отношений в литературной, журналистской, интеллектуальной среде второй половины XIX века. Ее называли русской Жорж Санд. В самом деле, линия семейно-психологического романа непредставима без Евгении Тур. Однако, если мысленно расчистить литературно-археологические руины и увидеть эту роль Елизаветы Васильевны Салиас в более широкой перспективе, на стыке культур, то нетрудно в генеалогии публичных интеллектуалов XX века проследить ее черты. Так в биографии и эссеистике Сьюзен Зонтаг<sup>1</sup> угадывается близость с Евгенией Тур. У них много общего — умственная страстность и чувствительность к языку, понимание собственной биографии и биографии своего поколения как художественного сюжета, восстанавливаемого в визуальных реконструкциях утраченного вещного мира и разрушенного быта. Поэтому трепетная и подробная бытопись мемуаров, повестей, переписки и публицистики имеет нередко автобиографическую основу.

---

© Elena Penskaya, 2012

<http://www.utoronto.ca/tsq>

<sup>1</sup> Зонтаг С. Мысль как страсть. Избранные эссе 1960—1970-х годов / сост., общая редакция Б. Дубина; пер. с англ. В. Гольшева и др. М.: Русское феноменологическое общество, 1997.



Елизавета В. Салиас-де-Турнемир  
Портрет работы неизвестного художника. 1870-е  
Холст, масло (ГЛМ, Москва)

Домашние записки Евгении Тур вскрывают табуированные стороны событий, семейных, литературных, политических, а ее живые портретные зарисовки, выпуклые очерковые вставки позволяют увидеть ключевые эпизоды русской литературной и политической жизни сквозь призму истории семьи Сухово-Кобылиных.

Итак, Евгения Тур, Елизавета Васильевна Салиас-де-Турнемир, писательница, переводчик, журналист, «литературная амазонка» (как едко назвал ее Салтыков-Щедрин)... Канва ее беспокойной жизни — центральная, пожалуй, глава сухово-кобылинской семейной саги. Внутрисемейные конфликты, ставшие громкими публичными скандалами, прочно вписаны в череду масштабных катастроф и совпадают с тяжелой полосой реформ середины XIX века, поражением в Крымской войне, сменой власти (смерть Николая I, напряженной эпохой царствования двух Александров, Второго и Третьего).

Сухово-Кобылины участвовали в формировании интеллектуальной и культурной повестки второй половины XIX — начала XX века. И весь этот срок они вели постоянную, непрекращающуюся войну с собственным кланом, с чиновничеством, цензурой, российской историей и властью. События, связанные с несостоявшимся браком Е. В. Сухово-Кобылиной (Евгении Тур) и Н. И. Надеждина, вытолкнули обоих из своих старых биографических «дуз» в новые и заставили играть и жить по-другому: она стала писательницей, журналисткой, зарабатывающей на жизнь собственным трудом (после короткого и неудачного брака с графом Андре Салиасом-де-Турнемиром); он, философ, гуманный, ученый-практик, болезненно расстался с университетской кафедрой и положением «культового профессора».

Первая повесть Евгении Тур «Ошибка» (1849) принесла ей славу. Успешный дебют заметили еще и благодаря литературному «благословию» А. Н. Островского. Он опубликовал развернутую рецензию, показав тонкое своеобразие художественного таланта начинающей писательницы. Считается, что Островский вложил в этот отклик не только соображения, связанные с его концепцией искусства, но и прочел повесть особым образом — субъективно, как некий текст, адресованный ему лично и тем, кто в жизни столкнулся с похожей ситуацией: ведь «Ошибка» хорошо проецировалась на его личные обстоятельства, мезальянс и его последствия глубоко задевали рецензента, может быть, поэтому он так горячо откликнулся. И Евгения Тур, и Островский — в ту пору оба начинающие. «Молодая редакция» журнала «Москвитянин», в которую входил Островский, вызывает острый интерес в литературных кругах. Однако салон Тур в щекотливом деле поддержал актера Д. Горева-Тарасенкова, обвинившего Островского в плагиате<sup>2</sup>. Нельзя сказать, что в дальнейшем отношения были безоблачными, но Тур высоко ценила Островского, навсегда сохранив признательность; постаревшая Евгения Тур приглашала драматурга в 1880-х на домашнее чтение, чтобы представить его новому поколению своих домашних — внуку, племяннице и племяннику. «Время гонит всех стариков к могиле, но хотела бы слышать еще раз одну из Ваших комедий <...> Я просила бы Вас прочесть „Грозу“<...> Это моя любимая

---

<sup>2</sup> Феоктистов Е. М. Глава из воспоминаний // Атеней. Кн. III. Пг., 1926. С. 93–94.

пьеса»<sup>3</sup>. Так или иначе Островский угадал темы Евгении Тур, ее репертуар.

И впоследствии тема просчета, осечки, стойким лейтмотивом проходит через «три биографии» (вот и роман Евгении Тур 1854 г., завершающий условный триптих 1850-х, в который вошли и повесть «Ошибка», и роман «Племянница» (1851), называется «Три поры жизни»). Первый яркий биографический пласт, связанный с беллетристикой, начался многообещающим взлетом и популярностью, но довольно быстро потускнел. Критики левого толка вынесли убийственный приговор, и Чернышевский едким фельетоном «закрыл» тему, убедил читателей в полном отсутствии у автора малейших намеков на дарование и отправил «Три поры жизни» в забытый чулан, отнеся сочинение к старым безжизненным романам<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Тур Е. Письмо А. Н. Островскому. Б. г. // Неизданные письма А. Н. Островского. М.; Л., 1932. С. 504.

<sup>4</sup> Чернышевский Н. Г. Три поры жизни. Роман Евгении Тур. Три части. Москва. 1854 // Чернышевский Н. Г.. Литературная критика: В 2 т. Т. 1. М.: Художественная литература, 1981.: [http://az.lib.ru/c/chernyshewskij\\_n\\_g/text\\_0350.shtml](http://az.lib.ru/c/chernyshewskij_n_g/text_0350.shtml) Любопытно, что в своей статье Чернышевский ставит знак равенства между Евгенией Тур и Д. Н. Бегичевым, выпустившим в 1830-х гг. популярный, но высмеянный критикой, в частности, Белинским, роман «Семейство Холмских» (6 ч. М., 1832; переиздан в 1833 и 1841 гг.). Когда вышел роман Бегичева «Ольга» (СПб., 1840), на издании указывалось: «Сочинение автора „Семейства Холмских“». Такая отсылка — тоже свидетельство известности. Да и Чернышевский отсылает не столько к роману Бегичева, сколько к отзывам о нем, считая, что этого достаточно и читатель поймет отклики критики, которые без натяжки можно отнести и к «Трем порам жизни». При этом Чернышевский неточно, но вполне узнаваемо цитирует Н. И. Надеждина, автора одной из самых едких рецензий на «Семейство Холмских», появившейся в журнале «Телескоп» (1832. Ч. XI. № 19): «...Всякому читателю может принести такую пользу — навести на него гораздо менее безотрадной тоски, нежели, например, чтение нового романа г-жи Евгении Тур; рецензенту оно может принести еще более выгоды — иногда снять с него часть работы, доставив ему готовый уже отзыв о книге; последнее случается, например, вот как: автор „Семейства Холмских“, недовольный отзывами журналов о его романе, написал длинное предисловие, в котором собрал — и, конечно, опроверг — эти отзывы. Все они чрезвычайно хорошо применяются и к „Трем порам жизни“; особенно отзывы „Телескопа“ и еще одной газеты, почему же нам и не применить их? вот они (см. предисловие к третьему изданию „Семейства Холмских“, Москва, 1841).

1) „Семейство Холмских“ (читай: „Три поры жизни“) нисколько не удовлетворяет современным требованиям; излишество бесполезного про-

Несмотря на этот приговор Евгения Тур вернется к беллетристике, но как «литературная бабушка», рассказывающая внукам занимательные истории. Ее исторические повести 1880–1890-х для детей пользовались успехом и часто переиздавались в 1910-х.

Другие пласты биографии Тур резко обозначились в конце 1850 — начале 1860-х. В эти годы отчетливо формируется ее роль как хозяйки литературного салона (одного из наиболее влиятельных и заметных центров литературных сил 1850–1860-х), издательницы журнала «Русская речь», просуществовавшего 13 месяцев. Невероятная публицистическая активность Евгении Тур — отдельная тема. Но порывистость ее характера, политическое и умственное диссидентство (ставившее ее «против течений») часто вели к разрывам с теми, кто недавно считался другом и единомышленником<sup>5</sup>. Каждый разрыв, изменения политического климата, цензурные вмешательства Евгения Тур переживала болезненно еще и потому, что обстоятельства ее жизни складывались трудно: она жила литературными заработками, рассчитывала на них, воспитывая зяблания хуже бесплодия.

2) Чтение „Семейства Холмских“ (читай: „Три поры жизни“) можно уподобить путешествию от Тобольска до Белостока».

<sup>5</sup> Например, дискуссия Е. Тур с М. Н. Катковым и прекращение сотрудничества с журналом «Русский вестник». «Дело Евгении Тур» было связано с публикацией ею статьи «Госпожа Свечина» («Русский вестник». 1860. № 7. С. 362–392). Статья посвящена фундаментальной критике личности Софьи Петровны Свечиной (1782–1857) и ее сочинений. История г-жи Свечина, урожд. Соймоновой, фрейлины императрицы Марии Федоровны, стала светской скандальной притчей 1810–1820-х гг. Перейдя в католичество и устроив в 1818 г. свои дела в России, она навсегда переехала в Париж, где создала салон, ставший центром европейской интеллектуальной жизни. В ее домашней капелле многие православные приняли католичество. Несмотря на внешнюю непривлекательность, Свечина притягивала тонким умом, начитанностью и несравненным даром вести беседу. Евгения Тур написала о Свечиной жесткую статью и в ответ получила не менее жесткую отповедь М. Н. Каткова, возглавлявшего «Русский вестник». Суть упреков Каткова состояла в том, что автор статьи намеренно исказил факты, слишком тенденциозно интерпретировал сочинения г-жи Свечиной, отказав ей в глубине и своеобразии мысли, игнорируя высокую оценку таких мыслителей, как Токвиль и Жозеф де Местр. Тур ответила гневной отповедью, обвинила Каткова в ограничении свободомыслия сотрудников и объявила о расторжении деловых отношений с изданием. Эта полемика была одним из центральных событий в журналистике 1860-х (см.: Катков М. Н. По поводу письма г. Е. Тур // Русский вестник. 1860. № 8. С. 468–488).

одна своих детей. Ее дочь Мария впоследствии вышла замуж за генерала Иосифа Гурко, героя русско-турецкой войны, в 1880-х генерал-губернатора и командующего войсками Варшавского военного округа. Любимый сын — Салиас Евгений Андреевич. В его судьбе Евгения Тур принимала деятельное участие. Так, студенческие беспорядки 1861 г. во многом приписывались влиянию графини Е. В. Салиас. В числе бунтующих московских студентов находился тогда ее сын, якобы «усвоивший под руководством матери понятия, весьма предосудительные и служащий вредным примером для своих товарищей»<sup>6</sup>. Салиас вспоминал позднее, что мать велела ему, почти не участвовавшему в беспорядках, самому явиться на допрос и разделить участь бунтовщиков<sup>7</sup>. В результате Евгению Салиасу пришлось оставить университет, и он вместе с матерью осенью 1861 г. уехал за границу. «Король» исторической беллетристики последней трети XIX — начала XX века, недоучившийся студент, он сумел сделать блестящую и прочную литературную карьеру. Русский Дюма, Жюль Верн, Вальтер Скотт, Купер — он словно соединил все знаковые имена в одном своем имени и был чрезвычайно горд, когда именно так называли его современники. С матерью его связывали всегда крайне сложные отношения, которые претерпели эволюцию от страстного юношеского обожания, полного литературного доверия вначале до недовольства, раздражения и взаимного желания «держаться дистанцию» в конце.

Евгения Тур жила то в Версале, то в Париже, то в Фонтенбло. В Париже она встречалась с Герценом, что он и отмечает в своих письмах, называя ее «доброй, экзальтированной». Польскому восстанию сочувствовала, дружила с поляками, поддерживала их, что было известно русскому правительству.

Проза и публицистика Евгении Тур всегда автобиографичны. Она часто возвращается к семейным коллизиям, и матрица отношений между поколениями и родственниками постоянно всплывает в ее романах и очерках. В случае Евгении Тур всегда нужно иметь в виду еще и дополнительные сценарии академических коннотаций, «профессорский» подтекст Московского университета играет здесь не последнюю скрипку, что отчетливо видно в тонком и точном «Воспоминании о П. Н. Кудрявцеве», написанном в

---

<sup>6</sup> Бакунин М. А. Письма Е. В. Салиас. 1862–1864 / предисловие и комментарий Ю. Стеклова // Летописи марксизма. 1927. № 3. С. 83–98.

<sup>7</sup> Салиас Е. А. Семь арестов (Из воспоминаний) // Исторический вестник. 1898. № 1, 2, 3.

1881 г. по просьбе сына, Евгения Салиаса, для его журнала «Полярная звезда».

Если продолжить наброски портрета Евгении Тур, то в нем реальное соединяется с вымышленным, одна легенда отменяет другую, богеменность парадоксально сочетается с жаждой уединения, безоглядного ухода в семейные дела, нежностью и заботой о родственниках. Литературность, беллетризация Елизаветой Васильевной семейных и деловых связей, литературное «материнство», «сестричество» (к примеру, по отношению к брату-драматургу), опека и одновременно невозможность контроля над ближними и дальними, доставили ей немало хлопот, мучений и драматических переживаний.



Елизавета В. Салиас-де-Турнемир  
Фотография С. Л. Левицкого. Париж. 1862–1863  
(ГЛМ, Москва)

Биография Евгении Тур еще при жизни «оплодотворяла» другие литературные сюжеты, оборачиваясь скандальной «притчей», памфлетной зарисовкой, фельетоном, переселяясь в романы и газетно-журнальные мифы: Салиас-де-Турнемир — хозяйка салона — маркиза де Бараль в лесковском «Некуда», или один из воз-

возможных прототипов Варвары Петровны Ставровогиной в «Бесах» Достоевского.

Для нее 1880-е гг. — пора воспоминаний, подведение итогов. Похоже, собственную летопись она именно тогда и составляет, приводит в порядок записки. Непубликовавшиеся прежде «Воспоминание о детстве и юности (РГАЛИ. Ф. 447. Оп. 1. Ед. хр. 1) (1820–1840)» — это незавершенная рукопись, несколько десятков листов, написанных судя по почерку в разное время (1850–1880-е). При сопоставлении этого рукописного материала с ее романами и повестями можно обнаружить немало бытовых деталей, перекочевавших из мемуаров в беллетристику. Но особенно выуклы совпадения «Воспоминаний» и «Семейства Шалонских. Из семейной хроники» (СПб., 1880). Совмещаются зарисовки почти всех членов семьи, но особенно это касается родителей, бабушки и брата Сергея, прототип которого узнаваем: это любимый брат Александр, так отчетливо присутствующий в «Воспоминаниях»<sup>8</sup>.

Рецензенты тепло встретили хронику и отмечали, что она напомнила «Детство» и «Отрочество» Л. Толстого. «С такою же художественной правдой и в таких же безыскусственных картинах пред-

---

<sup>8</sup> См.: «Старший брат мой Сереженька строгал и клеил, для чего был ему куплен инструмент и стоял станок в углу залы. После я уж узнала, что матушка, вследствие чтения не один раз Эмиля Руссо, всех детей кормила сама и пожелала, чтобы брат мой знал какое-либо ремесло. Ремеслу брат не выучился, но станок любил и как-то, с помощью плотника Власа, соорудил матушке скамеечку под ноги. Строгал однажды он немилосердно и надоедал батюшке, который читал огромную книгу в кожаном переплете... Дом бабушки был громадный, с большой залой и хорами, откуда в именины и праздники гремела музыка. С большой и малой гостиными, с бильярдной залой и мужским кабинетом, где никто не жил после кончины дедушки. В кабинете стояли чудные раковины, большие часы с курантами и китайский фарфор, в гостиной висели в золоченых рамах картины, вывезенные из Петербурга одним из дядей бабушки. Одна из них представляла испанца в черном бархатном платье с огромным воротником из великолепного кружева, другая — красавицу с ветками сирени у корсажа и в черных кудрях. Была и вакханка с тирсом в руках, и амур с колчаном и стрелами. Дом стоял в глубине огромного двора, от которого тянулись сады обширные и тенистые, верхний и нижний. Верхний сад состоял из старых липовых аллей и кончался плодовым садом, а нижний шел уступами под гору к оранжереям, вишневному грунту и пруду, обсаженному елями. За оранжереями текла, извиваясь между зеленеющих полей, небольшая реченька. Для нас, детей, Щеглово представлялось раем земным» (Евгения Тур. Семейство Шалонских. Из семейной хроники. 3-е изд. М.: Университетская типография, 1891. С. 45, 53).



ставляется в записках жизнь русской помещицкой семьи, со всею обстановкою этого отжившего *bon vieux temps*. Все эти лица давно переродились или совсем исчезли, и, следовательно, они тем интереснее для нас, чем больше мы их узнаем из правдивых рассказов современников»<sup>9</sup>. И в сочинениях Евгении Тур, и особенно в мемуарах детство переживается каждый раз заново как утраченный рай.

Публикуемый ниже фрагмент является началом воспоминаний Е. В. Салиас-де-Турнемир. Текст приведен к современной орфографии, однако стиль и особенности словоупотребления автора сохранены. Угловыми скобками <...> отмечены вычеркнутые и неразборчивые места текста, сокращения публикатора; квадратными скобками [ ] — восстановленные.

Рукопись в составе фонда № 447 была передана из Государственного Литературного музея (ГЛМ, Москва) в Центральный Государственный архив литературы и искусства (ЦГАЛИ, ныне — РГАЛИ) при формировании этого учреждения, в 1941 г. В ГЛМ эти документы поступили в 1930-х гг. как часть материалов из Рапперсвильского архива (Варшава)<sup>10</sup>.

Благодарю В. Г. Перельмутера, Т. В. Соколову и Т. Ю. Соболю, без участия и помощи которых не состоялась бы эта публикация.

## Е. В. Салиас-де-Турнемир (Евгения Тур)

### Фрагмент воспоминаний о детстве и юности

Начну с моего раннего детства. Когда я начала себя помнить, мне было примерно лет пять или шесть, потому что я не помню ни брата Вани<sup>11</sup> и наполовину помню, что сестры моей Сони<sup>12</sup> не было ещё не свете. Мне трудно уловить пер-

---

<sup>9</sup> Милюков А. Семейство Шалонских. Из семейной хроники. Евгения Тур. С.-Петербург. 1880 // Исторический вестник. 1880. № 1–4. Т. 1. С. 872.

<sup>10</sup> Описание фонда Салиас-де-Турнемир (544 единицы хранения) см.: Герцен, Огарев и их окружение. Рукописи, переписка, документы // Бюллетени Государственного литературного музея. № 5. М.: ГЛМ, 1940.

<sup>11</sup> Сухово-Кобылин Иван Васильевич (1820–1842), «больной ребенок». О нем почти нет упоминаний в семейной переписке и документах.

<sup>12</sup> Сухово-Кобылина Софья Васильевна (1825–1867). Младший ребенок в семье. Художница. Никогда не выходила замуж. Первая женщина, получившая Золотую медаль Императорской Академии художеств. Ее на-

вые впечатления детства. Скажу сперва о составе семьи нашей. Я была старшая. После меня, моложе меня двумя годами, брат мой Александр<sup>13</sup>, товарищ моего детства, годов учения и юности. После него — сестра моя (да будь она благословенна, она, ее дети и дети детей ее за ее неизменную любовь ко мне) Евдокия<sup>14</sup> моложе брата двумя годами; после нее — брат наш Ваня, о котором я мало [помню] в раннем детстве. Семья наша разделилась на два разных типа. Я была вылитый портрет отца<sup>15</sup>, смуглая, черноволосая, черноглазая, худощавая. Таковы же были и брат мой, хотя ни выражением лица и даже чертами не походил на отца. Он был также смугл, черноволос и черноглаз, как отец и я. Напротив того, сестра Евдокия, или как она сама себя однажды неизвестно

---

ставником в живописи и близким другом был известный пейзажист Егор Егорович Мейер (?–1867). Когда старший брат А. В. Сухово-Кобылин был обвинен в убийстве француженки, гражданской жены Луизы Симон-Деманш (1819–1850), через великую княгиню Марию Николаевну (1819–1879), президента Императорской Академии художеств, Софья передала императрице письма матери, М. И. Сухово-Кобылиной, с просьбой об оправдании сына.

<sup>13</sup> **Сухово-Кобылин Александр Васильевич** (1817–1903) — драматург, автор трилогии «Картины прошедшего» (1869), философ-гегельянец.

<sup>14</sup> **Сухово-Кобылина Евдокия Васильевна** (1819–1893), домашнее имя — Душенька, Душа. Ей посвящена «Книга любви» («Buch der Liebe») Н. П. Огарёва. В 1848 г. вышла замуж за Михаила Федоровича Петрово-Соловово (1813–1887). Он служил в кавалергардском полку и вышел в отставку в чине полковника. Сватался дважды. Первый раз получил отказ. Прожили вместе счастливую жизнь. От этого брака родились пятеро детей: сыновья Василий (1850–1908), впоследствии депутат Государственной Думы; Фёдор (1852–1918); Николай (1855–1914); Борис (1861–1925), генерал и последний предводитель дворянства Рязанской губернии; и дочь Мария (1858–1941), последняя владелица семейного архива Сухово-Кобылиных, переданного в Румянцевский музей.

<sup>15</sup> **Сухово-Кобылин Василий Александрович** (1784–1873) — отец семейства. Участник войны 1812 г. Вышел в отставку в чине полковника гвардейской конной артиллерии. Удостоен многих наград. Среди них — орден Святого Георгия четвертой степени за мужество и находчивость в битве народов под Лейпцигом. В авангарде русских войск под командованием графа П. П. Палена участвовал во взятии Парижа 19 марта 1814 г. В конце 1840–1850-х гг. смотритель Выксунского чугунолитейного завода и имения, принадлежавшего семье его жены.

почему прозвала себя Душенька, была белокура, сероглаза, с тонкими и приятными чертами лица. Брат ее Ваня походил на нее. Словом, двое старших — я и Александр — уродились в сухово-кобылинскую породу, особенно я, а двое младших в шепелевскую. Мать<sup>16</sup> моя чрезвычайно привязанная к своей семье, она этому радовалась и всегда указывала на их сходство, как на <...> особую привилегию или счастье. Она любила без памяти особенно сыновей, поменьше сестру мою Душеньку <...>. Отец всегда любил меня особенно сильно, хотя вовсе не был со мной ласков.

Сестру мою отец и мать и мы все называли Дуня, Дунечка, но она, будучи лет пяти или даже младше, всегда останавливала нас и родителей и говорила: «Я не Дуня и не Дунечка, я Душенька». Это имя нравилось моей матери, и она, и мы все всегда так звали мою сестру.



---

<sup>16</sup> **Сухово-Кобылина Мария Ивановна** (1789–1862), урожденная Шепелева, мать семейства. Опекала всех детей, но особенно любила сына Александра, ходатайствовала о нем, когда он был обвинен в убийстве, посылала письма первым лицам государства, устроила А. В. Сухова-Кобылина аудиенцию у министра юстиции графа В. Н. Панина 12 мая 1856 г.

Евдокия В. Петрово-Соловово, урожд. Сухово-Кобылина, с дочерью Марией. Интерьер дома Долгорукова на Колымажном дворе (Москва, Малый Знаменский пер.)  
Любительская фотография. 1880-е (ГЛМ, Москва)

<...> Лакеи ходили в праздники в платьях из сукна, кот[орое] стоило тогда больших денег. Мы, дети, носили рубашки из домашнего полотна. В праздники все имели <...><sup>17</sup> народного [покроя]. Кроме ситцевых, мы все не имели малейшего понятия о другом [сукне], кроме обыкновенного и, по правде сказать, весьма вонючего.

Но прежде чем я буду описывать кое-какие отрывочные сцены, сохранившиеся в моей памяти из раннего детства, мне надо сказать два слова о том, где мы жили, и наименование [поместья].

## Гла[ва] II

У моего отца было подмосковное имение Кобылинка<sup>18</sup>. Оно находилось по дороге Каменке, проходившей посредине между старой и новой Калужскими дорогами. Эта Каменка была известная дорога, хотя и не столбовая, но и не проселочная. В сущности, я не знаю, что ее отличало от проселочной. Те же овраги, рытвины, изгибы и извивы между луговых <...><sup>19</sup> те же плохие мосты и невозможный спуск с горы, как и на всех проселочных дорогах. Сломать шею себе можно было не однажды; но все на свете премудро устроено. Лошадь привыкла умело спускаться. Кучер умел искусно лавировать между рытвин и ям, идущий умело выходил на мостик к истому благополучию двигать до дому.

<sup>17</sup> Здесь неразборчиво.

<sup>18</sup> Родовое имение Сухово-Кобылиных в Чернском уезде Тульской губернии. В 1848 г. Александр принял от отца управление всеми родовыми имениями и поселился в селе Кобылинка. Там хранился семейный архив, реликвии. В 1899 г. при пожаре имения сгорели рукописи Сухово-Кобылина, в том числе переводы Гегеля.

<sup>19</sup> Здесь неразборчиво.

<...> Итак, от Каменки влево — Воскресенское<sup>20</sup>, отстоявшее от Москвы на 25 верст. Описать Воскресенское трудно. Оно осталось в моей памяти, как оазис в пустыне, как Эльдorado, как блеск маленького земного райка. Попытаюсь описать его вам таким, каким, говорят, купил его мой отец в первый год своей женитьбы, таким, каким я помню это имение в мою молодость и детство. Въезжая в имение, вы ехали по широкому [настоящему <...> из щебня] шоссе, [устроенному моим отцом]. Направо <...> вырисовывалась при самом въезде старинная, белая, небольшая каменная церковь. За нею, отделяя ее от сада, находился зеленый овраг, и через него — мост из белого камня. За мостом с одной стороны — деревянный домик с зеленой крышей, больница, а с другой — березовая роща. <...> Потом опять вниз, и по сыпучему песку скатишься к реке... По краю шли только метки. Круча была взаправду круча, и спрыгнуть с нее было небезопасно, несмотря на сыпучий песок.

Барский двор стоял [на одном конце] в глубине полукруглого двора. За ним тянулся Итальянский сад с липовыми аллеями, темными и сырыми, и с широкой аллеей перед самым домом посредине из берез к березовой роще. Березовая роща, как и весь остальной сад, примыкала к реке. За Итальянским садом направо раскинулся великолепный, веселый, роскошный Английский сад, с огромными лугами и довольно большим длинным прудом посредине. Различные деревья украшали его; на краю сада — <...> огромный серебри-

---

<sup>20</sup> Подмосковное Воскресенское приобретено В. А. Сухово-Кобылиным в 1814 г. у графа Шувалова. Калужское направление. Места живописные: протекают реки (Десна, Сосенка, Чечёра), есть перелески, пруды. В 1728 г. село Воскресенское с деревнями купил любимец и ближайший сподвижник Петра I — генерал-аншеф Павел Иванович Ягужинский. После его смерти имением владела вдова Анна Григорьевна, вскоре вышедшая замуж за графа и обер-гофмаршала Бестужева-Рюмина. В 1743 г. ее по так называемому Лопухинскому делу приговорили к колесованию, но императрица Елизавета Петровна смертную казнь заменила ссылкой, имение конфисковала. В 1755 г. имение было возвращено сыну графа Сергею, которое он в тот же год продал фавориту императрицы И. И. Шувалову, известному покровителю просвещения, первому куратору Московского университета и будущему президенту Академии художеств.

стый затон, над которым была поставлена зеленая скамья. Вообще скамей было вдоволь. Мать моя любила Английский сад, и с особенной любовью занималась им. Он примыкал одною стороною к речке, другою — к оврагу, отделявшему церковь, шедшему к Итальянскому саду и к <...> Воскресенской Швейцарии. С другой, [левой], стороны Итальянского сада находились оранжереи, теплицы и грунты: им не было числа. Я забыла гордость моей матери. У ней поспевали вишни в марте, персики в феврале, ананасы в январе <...>, у ней цвели все растения Юга, громадные кактусы (*cactus grandiflora*), пионные деревья, магнолии величиною с небольшую березу и [злаки] всех пород; словом, в ее теплицах нашлись бы все редкие растения любого ботанического сада. Если мне поможет память, я скажу, что теплиц и оранжерей было не менее восьми или десяти. Всякий подумает, какое надо состояние, чтобы содержать и развивать все это при русском климате, но в то время думалось иначе: «У меня садовники свои, — говаривала мать моя, — [жилицы<sup>21</sup>] заняты нашим лесом, а [в феврале] к Пасхе я продам фруктов Слоеву (известный купец, торговавший в рядах близ Василия Блаженного<sup>22</sup> фруктами), на [верные] тысячи рублей и больше (тогда считали ещё на ассигнации). <...> Тысячи не безделица, а мы продаем только лишние фрукты и оставляем для себя вволю персиков и вишен, и земляники». Действительно Словен являлся всякий год и заключал условие. Ему высылали фрукты, но их доставало и на нашу долю. Я помню, что я не находила особенного вкуса в ранних персиках, но зато с каким наслаждением съедала <...> огурчики с солью, приехавшие из Воскресенских теплиц вместе с персиками. Бывало, позовут в кабинет отца, а там на столе в горшках [для] цветочных, сложенные в охапки [пирамиды] персики, абрикосы и в зеленых перьях земляника. Отец вынимал ее по яголке, тер сам и одалял нас поочередно.

Но я отвлеклась от описания Воскресенского. Свою постройкою <...> амбаров, ледников, оранжерей, флигелей око-

---

<sup>21</sup> Жилица — устар., женск. род к слову «жилец».

<sup>22</sup> Храм Василия Блаженного в Москве.

ло дома — их было два по обеим сторонам его; в одном помещалась кухня, в другом прачечная — оно походило на городок. Мы, дети, не могли налюбоваться на Воскресенское, хвастали, что это не деревня, а городок, и выросли, успев отчасти надавать разных прозвищ любимым местам. Так, прямая, как струнка дорожка, бежавшая от дому к реке и отделявшая Итальянский сад с его тенистыми аллеями от Английского, называлась аллеею вздохов, allée des caprices, потому вероятно, что <...> бежала под тенью своей, лиственницы и других грустных деревьев. По ней любила я ходить с книгой в руке (как мне минуло лет 15), по ней <...> ходила я взад и вперед с моею милою Душенькой, разговаривая довольно грустно о семейных делах, по ней ещё ребенком и далее молодую матью, я бегивала, вспоминая детство босиком, идя купаться.

Это странное удовольствие <...>, и я сама в том согласна и не умею объяснить его. В детстве, идя купаться, мы разувались дома и бежали босиком до реки, что доставляло нам несказанное удовольствие; [впрочем] <...> бывши уже замужем и имея двоих детей, делала так же, и не без удовольствия разувшись, в белом пеньюаре, бежала вдоль той же дорожки.

К тому же месту на речке Душенька всегда отправлялась купаться вместе со мной и, кажется, даже разувалась для компании...

### Глава III

Итак, летом мы жилали в Воскресенском, а зимою в Москве. Мне необходимо следует описать вам наш московский дом, так как я проживала в нем до 19-летнего возраста. Он достался отцу нашему по наследству от его двоюродного брата Сухово-Кобылина. Брат этот был инженер и имел [трех человек] детей. Прежде всех умер он сам, а с ним в две недели умерли крупом трое детей. Остались несчастная мать их и мать их отца, старушка бабушка. Мать впослед-

ствии вышла замуж за некоего Арсеньева, и я ее не знала, однако слыхала о ней, а мать Сухово-Кобылина, бабушка умерших от крупа детей, пошла в Девичий московский монастырь<sup>23</sup>. <...>

Дом, доставшийся по наследству отцу моему, был каменный, старинный, с сенями, построенными сводами и каминами нижнего этажа под сводами. Он был тёмен, комфортабелен, и если бы был отделан по-нынешнему, то считался бы прелестным домом. Он и по-тогдашнему, несмотря на нечистоту стен, весьма обшарпанных, на грязь лестницы и замасленных руками деревянных [лепнин], которые были коричневого цвета от времени и грязи и лоснились, как наполированное красное дерево, считался барским домом. Он <...> находился в Харитоньевском переулке, близ Чистых прудов<sup>24</sup>. Теперь этот квартал заброшен, тогда он был Сен-Жерменским предместьем Москвы. Все знатоки фамилий жили близко от Чистых прудов. <...> Дурасовы, Писаревы (наши родственники), Пашковы, принимавшие у себя все высшее московское общество, графиня Мусина-Пушкина (родная [наша] тетка моего отца), Трубецкие, Волконские, Шереметевы и многие другие имели дома, Покровке, Разгуляе, Басманной и Мясницкой.

---

<sup>23</sup> Алексеевский Девичий монастырь был основан в 1358 г. митрополитом Алексием, инициатором строительства белокаменных стен Кремля. Первоначально монастырь находился между рекой Остоженкой и Москвой-рекой, примерно на месте нынешнего Зачатьевского монастыря. После пожара в 1547 г. Алексеевский монастырь был перенесен ближе к Кремлю, примерно на место сегодняшнего храма Христа Спасителя. В конце 1837 г., в связи со строительством храма Христа Спасителя, Алексеевский монастырь был переведен в Красное Село (район современной Верхней Красносельской улицы), к церкви Воздвижения Креста Господня, построенной в 1692 г. «Кладбище Алексеевского монастыря считалось одним из лучших и образцовых во всей России. Оно не велико и исключительно занято могилами русских деятелей: А. С Владимирский, В. Н. Лешков, и мн. др. Здесь много могил и склепов, принадлежащих: Нарышкиным, кн. Волконским, кн. Черкасским, и мн. др.» (Токмаков И. Историческое и археологическое описание Московского Алексеевского девичьего монастыря. М.: 1896. С. 50). В 1917–1919 гг. монастырь и кладбище были уничтожены.

<sup>24</sup> Ныне Большой Харитоньевский переулок, дом 17.



Наш дом стоял посреди огромного двора, из которого в наше время даже в Москве выкроили бы два двора и два сада. Передний двор отделялся от улицы черной решеткой и двумя каменными столбами со львами на веревках <...><sup>25</sup>. Задний двор, огромный, не мог быть запираем и завален огромной конюшней, огромным сараем для экипажей и огромной складкой дров на зиму. Среди него оставалось еще огромное, пустое место, на котором для нас, детей, выстраивали зимой довольно большую ледяную гору.

Большая, деревянная, довольно грязная лестница из больших сеней вела в длинную переднюю, также несмотря на все ссоры моей матери с лакеями не совсем чистую; из нее направо и был ход в [весьма нечистый] темный буфет и лешенку, которая шла в комнаты братьев моих и Морошкина<sup>26</sup>. Прямая же дверь из передней выходила в довольно большую залу, служившую столовой. Отлично натертый паркет говорил об изысканности, но зато все окна, а их было шесть, <...> стояли без гардин и весьма долгое время без стор<sup>27</sup>; позже мать моя заказала стору и долго жаловалась, что они стоили ей очень дорого. Из залы одна дверь вела в кабинет моего отца, небольшой, но хорошо меблированный. В нем стоял огромный письменный стол, огромное вольтеровское кресло, конторка (род бюро, которое до сих пор находится у нашей матери), большой диван, а перед ним круглый красного дерева стол. И в отцовском кабинете не было гардин [никаких], так же, как и во всех остальных комнатах. Из залы налево была большая гостиная, с мебелью *à l'Empire*<sup>28</sup>, обитой зеле-

---

<sup>25</sup> Далее фраза зачеркнута.

<sup>26</sup> Морошкин Федор Лукич (1804–1857) — профессор гражданского права в Московском университете. В начале 1830-х был приглашен М. И. Сухово-Кобылиной домашним учителем для старших детей. О «взрослых» отношениях А. В. Сухово-Кобылина и Ф. Л. Морошкина см: Пенская Е. Н. А. В. Сухово-Кобылин и Московский университет // Вестник Московского университета. Серия Филология. 2004. № 3. С. 74–78.

<sup>27</sup> Гладкая, иногда расписная оконная занавеска, на катке для спуска и подъема.

<sup>28</sup> Ампи́р, или «стиль империи» (*фр.* l'Empire — империя) возник во Франции при Директории (1799) и просуществовал до реставрации Бурбонов (1815). Использовал в качестве источника эстетику Рим-

ной «бомбой» (так тогда называли [материю] шерстяную, муар-материю<sup>29</sup>). В ней по трем стенам стояло три дивана красного дерева, с тремя перед ними столами и приличным числом кресел с каждой стороны. Из нее прямо в амфиладу<sup>30</sup> <...> выходила маленькая гостиная, предмет нашего вечного любопытства и удивления. [В ней] мебель была так называемая каповая<sup>31</sup>, то есть из Карельской березы. <...> Между двух окон находилось большое зеркало, а под зеркалом — стол с бронзовыми украшениями и на нем — множество чашек, и посреди них — фарфоровый рукомоЙник с лоханкой с изображением Венеры и Амура. Все эти чашки и этот рукомоЙник, предмет почтения и любви матери, предмет удивления и любопытства детей, привезены были отцом из Парижа и Дрездена, [которые отец мой посещал во время кампаний] 1814 и 1815 годов, будучи артиллерийским полковником. Чашки и рукомоЙник, конечно, были недурны, но, право, им тогда цены дома не знали. «Эта саксонская чашка из Дрездена, — говаривала мать, — а вот эта Севрская!». И она быстро брала ее в руки и любовалась тонкостью фарфора, наставляя его <...> на свет окна или свечи. Не забудьте, что дрезденские чашки не были старинными, да тогда едва ли простые смертные, как мы, исключая требовательных богатых вельмож, ценили старый саксонский фарфор. Подивитесь такому уважению, внушенному во всем доме к чашкам. Четверо резвых детей, около 10 невинных и полудиких горничных и, по крайней мере, 12 косолапых, совершенно уже диких, за исключением разве двух слуг, лакеев, никогда не разбили ни единой чашки в продолжение 20 лет!..

За гостиной находились спальни. За высокими, обитыми зеленой гофрой шторами, стояла огромная двухспальная кровать из Карельской березы. Четыре большущие, безоб-  
ской империи.

<sup>29</sup> Материя с муаровым рисунком.

<sup>30</sup> Анфилада (*фр.* Enfilade от enfiler — нанизывать на нитку), здесь — ряд последовательно примыкающих друг к другу комнат.

<sup>31</sup> Кап — древесный нарост; использовался для производства мебели и проч. дер. поделок, давал мраморный рисунок. Мог быть на карельской березе, тополе и др. деревьях.

разные, с вывороченной пастью и золотыми выпученными глазами льва из черного дерева с косматой гривой держали ее с четырех сторон на своих спинах. Кровать была так велика, что, будучи больными корью, мы просторно, бок о бок, лежали на ней все четверо — трое рядом, а один в ногах. Против кровати, [в] проходе двух окон стоял большой Карельской березы <...> туалет с большими зеркалами, перед ним кресло, а по бокам его два шифоньера — так называли тогда два простых шкапа, где лежали косынки, белье и уборы моей матери.

За спальней находилась темная комнатка, которую звали просто «тёмной»; она была не то комнатка, не то коридор. Одна дверь из нее выходила в детскую, другая — в девичью. Детская, впоследствии моя собственная комната, где я провела уединенно долгие, но не совсем несчастливые четыре года моей девичьей жизни., была большая, четвероугольная комната, имевшая два окна, и нечто вроде углубления, я бы сказала, алькова, если бы этот альков был поменьше и не имел окна. Проще сказать, из детской было большое отверстие без дверей в другую очень маленькую комнату в одно окно. В раннем моем детстве я помню две постели в большой комнате, для меня и для брата, а в маленькой комнате постель няни; позднее няня спала тут же, а Душенька спала там, где прежде спал брат, которого перевели наверх, на мужскую половину. Меньший из детей спал всегда с матерью, ибо она кормила сама, а потом, отнявши ребенка от груди, долго клала его спать около себя, приманивая к большой своей постели маленькую, назначенную для ребенка. Я помню, что за постелью в головах, стояла небольшая кроватка, на которой спал также один из маленьких детей. Вероятно, это было так: я и Александр в детской, Душенька за постелью отца и матери, Ваня на примостке подле самой постели. Он еще был грудным ребенком.

Девичья, [самая] нежилая, небольшая комната с шкафами для чайных чашек, выходила в нетопленые сени и в гардеробную. Гардеробная (так называемая) была длинная комната, по сторонам которой стояли огромнейшие шкапы оди-

наковой величины и формы, из простого дерева, окрашенного под красное дерево. <...> Дверцы этих шкапов были не глухие, а стеклянные. В шкапах, где висели шубы и платья, стекло было завешено зелеными бумажными занавесками изнутри, в тех, где хранилась серебряная посуда, фарфор и бронзовые вещи, не было занавесок, и, сидя в гардеробной я, бывало, всегда любовалась на две огромные, красивые серебряные суповые чащи, на серебряную сахарницу, около которой кругом, как солдаты на часах, стояли стайками чайные ложечки и небольшой старинный внутри вызолоченный кубок, в котором старый обжора князь Волконский, наш родственник<sup>32</sup>, обедавший отличными обедами у моей матери, пил содовую воду. В гардеробной на стуле, у столика, перед окном всегда сидела Катерина Ильинична <...>. Перед большой печкой стоял широкий сундук. На сундуке сживала я немало, горько рыдая после какого-нибудь родительского наказания или рассуждая с Катериной Ильиничной. Из девичьей дуло немилосердно холодом, потому что девки и девчонки сновали поминутно, и хотя дверь была обита войлоком и клеенкой, это помогало мало. Только и удовольствия было от обивки, что она засалилась донельзя, торчала лохмотьями и обрывками, за которые уже отворяли дверь все горничные, и за которые я сама, бегая, невольно отворяла ее, прикасаясь двумя пальцами. Из холодных сеней лестница вела в кладовую, в классную и в другую вновь отстроенную на площадке комнатку, куда ставили оставшиеся от обеда блюда и куда мы ходили после [того], проголодавшись. Дальше шли три комнаты без назначения, куда мы не заглядывали; потом комната Морошкина, братьев и небольшая гостиная или кабинет, общий всем им <...>.

Вот описание, я боюсь, уже слишком подробное, нашей летней и зимней рези[денций].<...>

<...> Катерина Ильинична была хранительница шалей, мехов, серебра, фарфора, платков, вышедших из вседневного употребления, дорогого заграничного столового белья, яро-

---

<sup>32</sup> Волконский Петр Михайлович (1776–1852), князь, министр двора и уделов (1826–1852).

славской холстины, ткани и всякого домашнего хлама. Она же была и экономкой, но ее давление оказалось даже слишком заметным, и вскоре была она из нее уволена. Летом Катерина Ильинишна отправлялась в кладовые, брала всю свою рухлядь, богатые меха и шелка, равно как старомодные, никуда не годные платья, и токи, вышитые стальными бусами по перкалю (так и она, и мать называли они пестрый белый шелковый тюль), и вывешивала их в тени, наблюдая, чтобы на них не села ни единая пылинка. Потом барахло бережно собирала она <...>, перекладывала его табаком, перцем, касторой и запирала в сундуки. Отроду не слыхивала, чтобы у ней что-либо было съедено молью или бы подгнило, или бы испортилось. О пропаже, о потере, не могло быть и помышления. Случалось мне слышать вволю такого рода разговоры: «Катерина, — говорила мать, — сыщи-ка мне кушак барина. Кажется, мы купили его в Мещовске на ярмарке или у разносчика, когда я ездила к сестре Софье. А ездила мать к сестре Софье в первый год ее замужества, когда она ездила в Мещовск, где муж ее командовал полком. Этому было уже лет 18. Катерина задумывалась на минуту, а потом отвечала утвердительно: «Знаю; красный с зеленой каймою; он уже старёнек<sup>33</sup>, сударыня. Барин до дыр почитай износил».

— Ну надо же, дай сюда, Саша из него кушак выйдет!

— Сейчас принесу!

И кушак — старый, линялый, дырявый — являлся на сцену, из него выкраивался кушак Саше.

Бывали и подобные сцены. Я уже замужем, и с сестрами приказываем шить платье; нужен низкий лиф из простого перкаля. Катерина Ильинишна осматривает нас:

— Не нужно шить новый, матушка; я Вам принесу Ваш лифак.

— Какой же?

— А вот как ещё в девицах Вы надевали палевое креповое платье на бал, так при нем был лиф. Я его в Ваш сундук спрягала.

---

<sup>33</sup> Разговорная форма от прилаг. *старенький*.

Лиф являлся на сцену, лиф из старого перкаля, и отроду [было] этому лифу лет 10, а то, пожалуй, и 20. Неимоверная была забота этой женщины о сохранении нашего добра; неимоверно было ее усердие, ее честность и ее память. Она все помнила, и каждый лоскут старого платья было сохраняем с тою же ревностью, как богатая турецкая шаль.

Нас, детей, Катерина Ильинишна любила, но в особенности девочек — сестру и меня. Она звала нас барышнями, до самой своей смерти. Мы уже были давно замужем, сами имели чуть ли не дюжину детей (вдвоем с сестрою), но для нее мы остались «барышнями», и она продолжала так называть нас. Никогда не сказала она неприятного мне слова, сердечно относилась ко мне, утешала меня <...> Ко мне родилась в ней и особенная любовь <...> Добрая она была душа и честности необычайной. Она всегда сидела в гардеробной <...><sup>34</sup>

Вепрь. В большой зале горят две сальные свечки; в ней полутемно. В передней отец сидит на лавке, перед ним стоит сидит староста, и они давно беседуют.<...> Брат мой в углу что-то мастерит у столярного станка, который ему подарила мать, говоря, что по методе Руссо<sup>35</sup> ему надо выучиться работать.

---

<sup>34</sup> Здесь фраза обрывается.

<sup>35</sup> *Rousseau J. J. Émile ou De l'éducation* (1762). В трактате «Эмил, или О Воспитании» сформулирована педагогическая концепция Руссо. В ее основе лежит идея труда. При этом из всех видов труда самый главный — ручной труд, труд ремесленника, где руки работают больше, чем голова. Этот вид деятельности не несет богатства, но с помощью такого труда возможно «терпеть неимение богатства». Закономерно, что Эмил обучается прежде всего столярному делу. (см.: *Руссо Ж.-Ж. Педагогические сочинения: В 2 т. М.: Педагогика, 1981*). Характерно, что А. В. Сухово-Кобылин, в отрочестве, видимо, пройдя эту домашнюю руссоистскую школу воспитания, и в зрелом возрасте остался ей верен. К труду он обращается как к спасению и лекарству от физических и нравственных недугов в 1850-е гг., в один из самых тяжелых периодов своей жизни, когда был обвинен в убийстве Л. Симон-Деманш. Это подтверждается его почти ежедневными дневниковыми записями. «Труд, Труд и Труд. Возобновляющий, освежительный труд среди природы, под ее утренним дыханием... Да будет Это начало — началом новой Эпохи в моей Жизни. Свершился перелом Страшным переломом. Мое заключение жестокое — потому, что безвинное — ведет меня на другой путь и потому благодатное» (1853 г., июль); «Порядок дня в декабре

Что это <...> хорошо и Эмиля так воспитывали. Я слушаю с любопытством, что <...> Руссо, что Эмиль, я понятия не имею, а спросить не смею. Мать моя сидит у стола, против меня, и читает четью mineю<sup>36</sup> вслух. Я слушаю, понимаю мало, и то, что понимаю, наполняет меня неописанным ужасом к суеврным старикам. У меня и теперь осталось в памяти, что рассказ шел о том, как пилили маленькую девочку в глазах матери. Едва ли то не было житие Софии мученицы.

Так как сестры Дуни нет в тех картинах, надо полагать, что я была очень, очень мала, быть может, лет пяти или шести, я старше Дуни четырьмя годами, но она, будучи двухлетним ребенком, [больше] вероятно оставалась в детской и должно быть спала уже, в то время, когда мать читала четью mineю, а староста беседовал с отцом.

Поздняя осень опять, быть может, та же самая. На дворе грязь непроходимая. Приезжает дядя матери Дмитрий Дмитриевич Шепелев<sup>37</sup>, известный богач, владелец Выксинских заводов, доставшихся ему по женитьбе с Дарьей Ивановной Балашовой. Он приезжает не один, но с большой свитой каких-то странных господ. Один из них высокий, ря-

---

1854 года: Встаю в 6-ть часов. Сей час умываюсь холодной водою и окатываю голову... Потом одеваюсь и иду строгать. В 7 часов сажусь за перевод...»; (см.: Дело А. В. Сухова-Кобылина. М.: Новое Литературное обозрение, 2002. С. 248, 249). «Работаю пьесу», «работаю перевод» — литературный труд в лексиконе Сухо-Кобылина почти синонимичен столярному ремеслу.

<sup>36</sup> Рассказ из сборника Четьи mineи.

<sup>37</sup> **Шепелев Дмитрий Дмитриевич** (1766 (на могильной плите) или 1771–1841) — российский командир эпохи Наполеоновских войн, генерал-лейтенант. Дядя М. И. Сухова-Кобылиной. Был женат (с 1807) на Дарье Ивановне Баташевой (1793–1818), наследнице знаменитых купцов и миллионщиков Баташевых. Приданое, которое дал своей любимой внучке Иван Родионович Баташев, не имело себе равных в России. Дмитрий Дмитриевич, хлебосол и оригинал, устраивал роскошные приемы, давал так называемые маленькие обеды, о которых говорила вся Москва. Приданое было быстро растрачено. После смерти Ивана Родионовича к Шепелевым перешло и баташевское имение в Выксе, и знаменитые металлургические заводы под Муромом. О Шепелевых и жизни в Выксунском имении в 1850–1860-х гг. см.: *Феоктистов Е. М.* Глава из воспоминаний... С. 110–114.

бой, черноволосый. Его зовут князь Ефимов, и постоянно смеются и шутят с ним, но он не шутит; он отвечает отрывисто, даже грубо.

Шумный обед; обед длинный в барской зале внизу. После обеда идут вверх и за дедушкой несут большой белый ящик. Нас, детей, зовут в кабинет отца моего, в котором расположился дедушка и где уже для него постелена кровать. Отколачивают ящик. Он зовет прежде всех свою крестницу Дуню (здесь первое появление моей сестры Дуни, запечатленное в моей памяти). Он зовет ее Авдотьей и говорит, что, когда она вырастет, то будет фрейлиной при дворе. Дуня начинает горько плакать и, всхлипывая, говорить, что она не Авдотья, а Дуня и фрейлиной быть не хочет. Я не знаю, что она понимала под словом «фрейлина», не понимала и я, что это такое. Нас одевают подарками... и я уж ничего не помню; только на другой день дома тихо; гости уехали, мы опять одни. Мать моя говорит отцу: «Вообрази себе, я приказала поставить в его комнату цветов, а он все велел вынести. Говорит, землей пахнет».

— Как ему смерти не бояться? При его жизни [и безверии], да ничему не веря, ему нельзя ее не бояться, — отвечал отец серьезно.

— Да какая же мысль: цветы землей пахнут! — восклицала мать.

Этот разговор, не знаю почему, врезался в моей памяти.

Опять поздняя осень, либо начало зимы. Мы все еще в Воскресенском. Нежданно-негаданно въезжает на наш большой двор лихая тройка, с бубенчиками и колокольчиками, и звеня и гремя подкатывает к подъезду. В доме суматоха и недоумение: кто бы это?! Оказывается, что это сосед наш, приехал с женою и двумя младшими, лет 12, сыновьями, знакомиться, князь Четвертинский<sup>38</sup> с женою. Он проводил

---

<sup>38</sup> **Борис Антонович Четвертинский (Святополк-Четвертинский)** (1784–1865) — князь, полковник, участник Наполеоновских войн. Усадьба Филимонки расположена на реке Ликове близ Калужской дороги в 10 км от нынешней Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). С XIX в. Филимонки принадлежали семейству князей Четвертинских. Б. А. Четвертинский проживал в Москве и заведовал Московским коню-



зиму в своем имении Филимонках, за семь верст от нас. Появление этой семьи в нашем доме произвело революцию. Помню я живо князя и его жену и его сыновей. Он высокий, красивый, стройный, изящный, веселый, постоянно смеющийся и шутящий непринужденно. Она красивая, отчасти молчаливая, изящная. Два красивых сына, Боря и Федя. Они разговаривают, шутят, путаются в разговоры больших; отец отвечает им шутя, мать улыбается им. Я гляжу во все глаза и

---

шенным двором.. Был пожалован в должность шталмейстера двора Его Величества (6 апреля 1835 г.), с чином действительного статского советника, и получил ордена Св. Станислава 1-й степени (5 декабря 1837 г.) и Св. Анны 1-й степени (11 сентября 1839 г.). В 1856 г. пожалован в обер-шталмейстеры. Последние годы своей жизни князь Четвертинский прожил в Москве, в казённом доме у Колымажного двора, где и скончался 23 января 1865 г.

Ф. Ф. Вигель писал о Четвертинском как о «красавце, молодце, опасном для мужей, страшном для неприятелей, обвешанном крестами, добытыми в сражениях с французами» (см.: *Вигель Ф. Ф. Записки*. М.: Захаров, 2000. С. 179). Четвертинский с 1809 г. был женат на статс-даме княжне Надежде Фёдоровне Гагариной (1792–1883), дочери известной княгини П. Ю. Гагариной и сестре В. Ф. Вяземской. В семье было шесть дочерей и три сына: Борис (1811–1862); Надежда (1812–1909), замужем за князем А. Н. Трубецким (1806–1855); Фёдор (1814–1891); Елизавета (1815–1869), замужем за бароном А. Г. Розеном (1812–1874); Прасковья (1818–1899), замужем за князем С. А. Щербатовым (1804–1877), их дочь — графиня П. С. Уварова, известный археолог и историк; Владимир (1824–1859), был женат на Ольге Николаевне Гурьевой (1830–1855), дочери Н. Д. Гурьева; Наталья (1825–1906), фрейлина, замужем за князем Д. Ф. Шаховским (1821–1863), сыном декабриста Ф. П. Шаховского; Вера (1826–1894), замужем не была; Мария (?–1877). С Владимиром Борисовичем Четвертинским, адъютантом московского военного генерал-губернатора, поручиком лейб-гвардии, и с его сестрой Верой Борисовной особенно дружил А.В. Сухово-Кобылин. Четвертинские нередко упоминаются в его дневнике: «Вечером (2-е сентября 1855 г. — *Е. П.*) для хлопот о пиэссе выехал в Москву в 6-ть часов: заехал к Вере Четвертинской; — она одна, живет с детьми Владимира. Какое она хорошее Создание — сколько в ней миру, простоты и тепла. При известии, сообщенном мною о взятии Севастополя, она вскрикнула, как будто бы ее ударил по Сердцу» (см.: «Дело Сухово-Кобылина». С.258). Очевидны доверительные отношения с ней Сухово-Кобылина и в связи с театральными постановками, особенно в то время, когда ему очень важно мнение публики: «...Четвертинская Вера рассказала, что явление этой пиэссы («Свадьбы Кречинского». — *Е. П.*) называют новой Эрою в литературе» (запись от 6 декабря 1855 г.; см.: Дело Сухово-Кобылина... С. 270).

не могу надивиться, что дети эти ничего и никого не боятся и говорят обо всем. Князь обещает приехать опять и привезти с собою девочек. Это обещание заставляет сердце мое биться от радости и ожидания. Они уезжают, и визит их, длившийся, быть может, два-три часа, кажется мне одним мигом. На другой день мать моя говорит, что [дети] мальчишки Четвертинские красивые, но жаль, что много хвастают. Я слушаю молча и сожалею, что их осудили. Я не знаю, чем и от чего они хвастают... Они такие милые и красивые.

Опять поздняя осень. Утро. Не меньше <...> пяти часов. Я еще лежу в постели. Вдруг дверь открывается и появляется в дверях Марья, высокая, худая женщина, в белом коленкоровом чепце. Сумерки. Выходит отец в халате, извиняется, увидев барыню в гостиной, и за чайным столом рассказывает матери, что у него, по делу, была соседка, уваровская барыня. Уварово — деревенька, отстояла от Воскресенского за две версты.

— Посуди, — говорит отец, — я сплю еще; меня будит Николай Васильевич, говорит: «Уваровская барыня! С визитом, по делу...» В пять часов утра?!.. Вошла в дом, забрела в детскую. Я встал, накинул халат, извинился, провел ее в гостиную и насилу сбыв с руки. Полоумная какая-то.

— Я слышала сквозь сон, — говорит мать, смеясь. И потом долго рассказывала о посещении уваровской барыни, «чудихи» и старшей «скупердяйки».

Вероятно, отец с матерью ездили одни или только с сыном к Четвертинским, ибо я не помню еще в то время моего визита к ним, но живо помню — и то, кажется, уже было весною — большое, шумное общество приехавших к нам. Вся семья Четвертинских, отец, мать, два сына, четыре девочки, одна одной лучше, одна одной веселее, одна одной говорливее. Я, помню, засматривалась, любовалась и не могла налюбоваться. Они были одеты в белые платья с розовыми и голубыми поясами и все завитые, и все черноволосые. Говорили они о каких-то бисерных браслетах, нанизанных на [конский] волос и хитро сплетенных, о цепочках из бисера, также обещали научить меня низать и плести их. Я жадно слушала

и рвалась к ним вслед, но [как-то] долго еще не попала к ним, ибо за ними помещенные, настигали мои воспоминания о жизни в Воскресенском и переносились в Расву<sup>39</sup> к бабушке. Но о Расве надо сказать подробно и сперва описать это Эльдорадо моего детства.



Н. И. Шепелев

Дагерротип М. Абади. Москва. 1850–1852 (ГЛМ, Москва)

---

<sup>39</sup> Здесь и далее в этом случае сохранено написание оригинала. Усадьба Росва (Расва, Калужская область) основана во второй половине XVIII в. калужским наместником М. Н. Кречетниковым, с конца столетия и в первой трети XIX в. принадлежала его племяннице, бригадирше Е. П. Шепелевой (урожд. Кречетниковой) и до середины века ее сыну, Н.И. Шепелеву; затем по завещанию наследовала его племянница В. Н. Жукова, вышедшая впоследствии замуж за председателя Московского окружного суда В. Н. Лаврова; она владела усадьбой до 1901 г.; далее, до 1917 г. — ее дочь кн. С. В. Урусова с мужем, государственным и общественным деятелем кн. С. Д. Урусовым. Поныне сохранились служебное здание с башнями, корпуса крахмалопаточного завода, руины гостевого и флигеля управляющего, флигель для дворовых, простой архитектуры дом садовника и фрагмент бывшей домово́й церкви (с позднейшими пристройками), остатки ограды и парка. Усадебная библиотека в 7000 томов поступила в 1920-х гг. в Калужскую центральную библиотеку.

## Глава IV

Село Расва, имение бабушки, в котором она жила безвыездно, за 12 верст от Калуги, оставило во мне воспоминание города. С поворота большой дороги въезжали мы в усадьбу. Налево — амбары, направо — рига и рядом большой сад, Итальянский, огороженный каменной решеткой. Налево против решетки, по другую сторону дороги всё дома и домики, до большого здания конюшни, каретных сараев и мастерских, в каретных, еще тогда домашние мастера, мастерили кареты. За конюшней опять дома дворовых, потом мост, и за мостом, на реке Расвянке, селение против конюшни через дорогу, между двух садов, Чичагинского и другого, тянувшегося под гору, уступали к оранжереям, стоявшим в конце широкого, большого двора, большой барский дом, с двумя флигелями. Направо в одном флигеле, примыкавшем к дому небольшой комнатой, неизвестно почему называвшейся галереей, находилась домашняя церковь. Ход из нее [был] (внутренний), прямо вел в спальню бабушки. Другой флигель соединялся с домом холодным [крыльцом], с громадными окнами, на манер [карниза] коридором; флигель назывался Кобылинским, потому что в нем жило наше семейство. По этому холодному коридору мы бегали постоянно к бабушке и от ней в свой флигель, не надевая ничего на себя, в жестокие зимние холода, и никогда не простужались.

Расвянский дом состоял из громадной залы с хорами, из громадной гостиной, в которой был громадный камин, огромные часы, старинные, деревенские, пример нашего удивления и любви. Когда часы били, выходил лев, поводил глазами и бил лапой столько раз, сколько били часы.

Стены гостиной были увешаны картинами, очень ценными, как мы узнали после. Из большой гостиной входили в маленькую гостиную, или диванную. Позднее она изменилась, но в мое раннее детство устройство ее было оригинально. В глубине ее стояла большая, как дом, двухспальная кровать, но без подушек и матраца, и обитая просто зеленым сафьяном. Четыре столбика по четырем ее углам украша-

лись четырьмя медными шарами, величиною с большое и наливное яблоко, даже больше. За кроватью была лесенка, на которой сидеть мне было запрещено и на которой я всегда сидела, когда матери не было в комнате. В диванной было два окна. У одного диван с подушками. У окна сиживала всегда бабушка, против нее на другом диване у другого окна — ее две незамужние дочери, тетенька Анна Ивановна, из них старшая, и тетя Саша, из них меньшая. За диванной, у другой комнатки, на столике <...> подавали чай, а у окон стояли пьльцы, и за ними около 12 горничных всегда вышивали по батист-декосу и ткани разные они искусные рукоделия. Когда к одной из швей сватался один из дворовых, то приходили просить позволения жениться у бабушки. Отказа не было, от чего после ее смерти осталось 500 человек дворовых, от которых дяди не знали, как избавиться. Они вольной даже при денежном вознаграждении взять не захотели. Свадьба швей или горничной праздновалась в Расве особою пышностью. Невеста одевалась в спальне тети Саши, у большого зеркала, окруженная всеми девушками и в присутствии бабушки и ее дочерей. Она надевала белое тюлевое платье, принадлежавшее бабушке, и такой же вуаль. Бабушка сама благословляла ее. На другой день молодые являлись на поклон, приносили бабушке на подносе конфеты и, поцеловав у нее руку, удалялись. Платье, бывшее на невесте, возвращалось на другой день. Его бережно [свертывали] и запирали в сундук до новой невесты. Сколько раз оно было перешиито, переходя с худой на толстую, я уже сказать не умею. Если невеста была соблазнена до свадьбы и жених венчался с нею, заглаживая проступок по собственному желанию или по господскому требованию, невеста не оставалась у бабушки, бабушка не давала ей надеть тюлевого платья и не благословляла ее к венцу. Словом, только честная девушка могла претендовать на свадебный почет. Бабушка и все семейство присутствовали часто в домовой церкви при венчании горничных, а мы, дети, всегда присутствовали. Раза два я бывала и на девишниках и всегда дивилась подаркам жениха — они казались мне крайне плохими. Часто дивилась я дурноте невесты и неуклюжести жениха, ибо под словом «невеста» ра-

зумела красавицу, а под словом «жених» — молодца. Разочарование мое было велико, особенно когда прелестное тюлевое платье сидело на невесте, как на корове седло.

Часто нас, детей <...> звали к себе в гости на пирог, и мы туда хаживали и были принимаемы с большим почетом и радушием. Пироги пекли в Расве у дворовых необычайно вкусно. Они всегда были круглые, с яйцами рублеными и курицей. [Я бы их ела и ела]. Вновь женившемуся дворовому давалось во флигеле одна, часто две или три комнаты и месячина, то есть известное количество муки, круп и прочих съестных припасов в месяц. Кроме чаю, он и жена получили жалованье, если исполняли в доме какую-либо должность, но жалованье это было ничтожно. Я думаю, самый первый садовник или кучер, или повар не мог получить больше 50 рублей ассигнациями в год. У дворовых было свое хозяйство — курицы, утки, гуси, коровы, утята и главное — свиньи. За свиней всегда были дикие ссоры. Свиньи забирались в сад или в поле бабушки и портили ей всё. Она сердилась. Наконец, приказала загонять свиней, то есть брать их на барский скотный двор и отдавать владельцу только тогда, когда он внесет штраф. В таких случаях владелец провинившейся свиньи являлся в диванную бабушки, останавливался в дверях, заключив значительно руки за спину, кланялся и просил прощения. Бабушка долго, бывало, ворчала, упрекала, взывала к совести дворового, который всё кланялся, закинув руки за спину и бормотав: «Матушка... Елисавета Петровна... пощади...». Бабушка вдруг оборачивалась и говорила гораздо тверже, чем прежде: «Ну, смотри же, в другой раз не прощу, да не прощу. А теперь ступай». Затем она звала свою горничную: «Машка! Машка! Скажи, чтобы Григорию отдали его свинью». Так всегда кончались эти ссоры.

Из швейной была еще длинная комната, с лестницей в кладовую. Наверху лестницы, на площадке лежали пуховики, а на пуховике лежала всегда, куря длинную трубку, Анна Федоровна, барская барыня<sup>40</sup>. Другая Анна Федоровна, про-

---

<sup>40</sup> Род хозяйки, ключницы, наперсницы в барском доме; приближенная к помещице старшая горничная.

званная «Мадам» (потому что она надзирала за горничными), сидела над лестницей на сундуке.

В глубине длинной комнаты стояли два шкапа и между ними диван, где, иногда спускаясь с площадки вместе со своей злющей Роской (шавкой), сживала Анна Федоровна и нас, пробегающих детей, объявляла барчиками. Из гардеробной был вход в спальню бабушки через темную комнату. В ней стояли две кровати под большими коленкоровыми полочками. На одной спала бабушка, на другой всегда спала я, до самой кончины бабушки. Вкрай комнаты стояли два шкапа с книгами под стеклами, занавешенными зеленой гофрой, два старинных комода и диван. За спальней была оранжерея без цветов, впрочем, совершенно пустая, которая вела в церковь. Из темной комнатки другая дверь вела в спальню тети Саши. Тетечка Анна Ивановна жила в особом домике, построенном обок с домами и домашнею церковью. Кроме залы, за большой гостиной находилась бильярдная, а за бильярдной — кабинет дяди, в котором он и спал, приезжая домой в отпуск или ремонтером.

Во флигеле тетечки Анны Ивановны не было ничего замечательного, кроме огромной [вольерки] <...> Комната была [разграничена] проволочной сеткой, из нее чирикали, летали, вили гнезда стаи канареек. Тетечка брала их маленькими, приучала их есть из рук, садиться на плечо и потом дарила их матери, племянницам и знакомым. У бабушки была любимая канарейка Мими, которая распевала и, выпущенная из клетки, прилетала за сахаром <...> пила чай и садилась к неопisanному моему удовольствию то на мое, то на бабушкино плечо, чирикавая.

## Глава V

Как описать жизнь в Расве? Как описать бабушку, это доброе, любящее, кроткое, красивое даже и в 60 лет существо? Она была мала ростом, как всегда носила высокие каблуки на маленьких своих черных башмаках. Она одевалась неизмен-

но в черное платье, а по праздникам в — [дикое]<sup>41</sup> и носила белые чепчики с белыми оборками. Лицо ее было прелестно. Большие, черные, добрые глаза, [теплейшая] улыбка, мягкий голос, орлиный маленький носик, маленькие ручки и маленькие ножки. Говорят, она была красавицей в молодые свои годы, даже будучи 45 лет и попав на свадьбу своего [соседа] Дмитрия Дмитриевича Шепелева, удивила всех своею сохранившеюся красотой. Я не помню, чтобы приехав когда-либо в Расву, мы не увидели, въезжая на широкий двор, саму ее на крыльце дома, ожидающую нас. Мы выпрыгивали из экипажа и [оказывались] в ее объятьях. Милая бабушка осыпала нас поцелуями и обливала [радостью всякий раз] <...> Любовь моя к бабушке была безгранична. Я не помню, чтобы я в чем бы то ни было ослушалась, не помню, чтобы пренебрегла ее советом, не помню, чтобы не победила себя по ее одному слову. Она посылала меня просить прощения у матери — я шла беспрекословно; она мирила меня с братом, сестрой и двоюродными моими братьями и сестрами, и я мирилась с ними; она не любила шуму (хоть и постоянно выносила его, ибо резвость внуков превосходила все, что можно вообразить; они, играя шумною толпою, врываются по перилам в четверть часа в ее комнату, перебегают мимо ее дивана), и мы, в угоду ей, сживали по целым часам у нее ночь; она не одобряла в девочке ухватки мальчика, и я старалась быть чинной в ее присутствии.

Помню, что наши дети, дети Жуковы, старшие Шепелевы и Афремовы<sup>42</sup> придумали обрывать люстры в зале и гости-

---

<sup>41</sup>«Дикий» цвет — естественный цвет исходного материала, не подвергнувшегося отбеливанию или окраске.

<sup>42</sup> Жукова Софья Ивановна (урожд. Шепелева), двоюродная тетя. Она и ее большие дочери, особенно Прасковья Николаевна Жукова, страдавшая нервным расстройством и слабостью желудка, проживали в 1850 г. в московском доме А. В. Сухово-Кобылина. Они упоминаются в протоколах судебного дела в связи с обнаруженными уликами — кровавыми пятнами на стене. Одна из версий происхождения пятен — пиявки, которыми пользовалась П. И. Жукова. О семействе Жуковых, о детях А. В. ухово-Кобылин нелицеприятно отзываются в своем дневнике: «...Софья Ивановна тяжело больна. Впрочем об ней как-то мало думают. Брат умер, мать при смерти, а в доме все по-старому — как будто и ничего. Доктора ездят каждый день,



ной. Люстры были старинные, из граненого хрусталя, весьма красивые, такие, какие теперь опять вошли в моду. Дети выдумали вырывать из них кусочки граненого хрусталя, но так как огни были нанизаны на проволоку, то это было дело нелегкое. Сперва [при]наставляли на стол стул, на него вызывали смельчака и обрывали два-три кусочка, лучший оставляли себе, другие раздавали товарищам. Но скоро многочисленные лакеи из передней, ничего не делавшие по целым дням, увидели проделку, доложили бабушке, и она, вышедши в залу посмотрела на учиненные [безобразия], покачала головою и запретила внукам лазить на стол для разорения люстры. Нечего было делать. Они, по-видимому, покорились. Но не далее, как через два дня, у моего брата Александра появилась большая палка с крюком, и они производили свою операцию верно и безопасно. Они переменили место действия из передней в гостиную, всегда пустую; крюк задевал верно и вырывал гораздо легче граненый хрусталь, чем это можно было сделать рукою. Никогда, быть может,

---

будто совещаются, но об этом никто и не заботится. Вечером доктор прописал рецепт, положил его на камин, ибо лекарство вышло; он точно не сказал, у него точно не спросили; горничная, когда лекарство вышло, перестала давать. Лишь на другой день вечером схватился дядя, что уже скоро сутки больной не дают лекарство. За доктором — приехал — я, говорит, прописал и вот здесь положил на камин — искать — действительно рецепт лежит на камине. Каков доктор, какова горничная — но каковы дети при больной живут: болван сын, франтиха дочь, воспитанница, старая Глафира, и весь день сидит невеста умершего сына, т.е. пять женщин и один мужчина, совершенно ничего не делающих, — и это Люди!!... (Дело Сухово-Кобылина... С. 304–305).

Афремовы, дети Афремовы — близкие знакомые, соседи, помещики Тульской губернии, с которыми сохранилось общение и позднее, когда дети Сухово-Кобылины выросли. Александр навещал Бориса и Александра Афремовых в 1850-х гг., они вместе охотились, хозяйствовали, обсуждали газетные публикации и успех театральной постановки «Свадьбы Кречинского», а также с тревогой наблюдали готовящиеся реформы. «Рано утром выехал к Афремову. Поля начинают голеть. На верхах и на горах снег. Афремовские поля все в снегу. У Афремовых люди рассказывают, что Черные Короли пришли. Что они взяли Белого Царя в плен за то, что он всякий месяц откладывает освобождение крестьян...» (Дело Сухово-Кобылина... С. 330).

ничего мне так не хотелось, как граненого хрустала. Я, конечно, участвовала в первых экспедициях против люстр, тем более, что шумная игра всегда привлекала меня. Пока смельчак лез на люстру, другие дети окружали стол, прыгали, кричали, ободряли, трусили, советовали; всякий ждал подачки, пока раздирающий бросит со своей высоты граненый кусочек. Когда бабушка запретила эту игру (хороша игра!), я с сокрушением сердца устояла у нее в ногах и уже не принимала участия в составлении крюков. Скоро люстра в гостиной, большая и совершенно еще целая, являла жалкое зрелище. Со всех ее боков свисали на черных проволоках оторванные от люстры хрусталь, и огромная дыра в люстре свидетельствовала о том, сколько их похищено. В средней люстре, большой граненый хрусталь величиною с доньшко порядочной чашки, был вырван братом и долго оставался предметом моих пламенных желаний. Я достигла своего и выменяла его на большой кубарь<sup>43</sup>, прозванный «дедушкой» по своей величине, сердитому ворчанью, когда вертелся.

Бабушка высоко ценила мое послушание и нежность к ней. Она меня ласкала беспрестанно, оделяла лучшими лакомствами и ласкала особенно нежно, когда увидала меня в своей спальне. У ней вырывались слова, которые глубоко запали в мое сердце. Однажды, когда я прилегла на ее колена и она гладила меня по голове рукою, она вдруг сказала: «Ну полно — опять скажут, что я тебя избаловала». Я очень хорошо поняла, что мои ласки ей особенно милы, когда мы одни, и лишь только она уходила в спальню, я бежала за нею и бросалась ей на шею, и поцелуям конца не было.

---

<sup>43</sup> Игрушка, разновидность волчка.